

СТО
МИЛЛИОНОВ
ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ

Посвящается моим родителям

ЛЕТО

Я наверняка забуду многое — может быть, даже свое имя. Но никогда не забуду первую фоссилию. Небольшое морское членистоногое — трилобит, который тихо лежал себе и никому не мешал, пока в один весенний день наши дороги не пересеклись. В следующую секунду мы были друзьями навек.

Он и его товарищи поведали мне — когда я подрос и стал понимать их язык, — что им не раз приходилось съезживаться и уменьшаться. Так они выжили в борьбе с потоками лавы и кислоты, с нехваткой кислорода, с низко нависшим небом. А потом настал день, когда им пришлось сложить оружие, признать, что они отжили свое, и свернуться калачиком в теплом каменном чреве. Они приняли свое поражение и уступили место другим.

Другим оказался я, *homo sapiens* в брюках на вырост, стоящий в высокой траве тогда еще совсем юного века. В то утро 1908 года меня выгнали из класса, потому что я спорил с учительницей. Карл Великий — никакой не король франков, как утверждала она. Это моя собака, черный овчар, которого мы нашли в хлеву. Карл Великий, он же Корка. Он охраняет нас от злых духов и бродячих котов — они ведь часто действуют заодно.

Мадемуазель Тьер показала нам иллюстрацию — бородатый дяденька в короне и сверху бук-

вы — К-А-Р-Л В-Е-Л-И-К-И-Й. Я уже умел читать и понимал, что буквы эти складываются в явное доказательство моей ошибки. Она сказала: «Ты прервал урок. Ничего не хочешь сказать классу?» И я ответил: «В следующий раз прав буду я!» Она взяла мой дневник и написала пером: «Дерзил на уроке». И дважды подчеркнула. Будь любезен принести это с подписью родителей.

Я шел домой по пыльной дороге, пережевывая свою грошовую браваду и обреченно хмурясь. Из всей местной детворы я единственный любил школу и был в ней лучшим учеником. И что я, виноват, что короля называли собачьей кличкой?

По задернутым занавескам спальни я понял, что мать беспокоить нельзя. В такие минуты ей нужна была темнота, и только темнота. Командора на установленном месте на горизонте — там, где наши поля идут под уклон к деревне, — не было. Зато Корка, бдительно лежа на продуваемом пригорке у дома, как раз присутствовал. Он поднял свои славные уши и секунду смотрел на меня свысока — действительно немного по-королевски, — а потом снова заснул.

Я схватил молоток, идеальный инструмент для решения кучи проблем. Сподручней всего было применять его подальше от дома, и я пошел напрямик сквозь пышные гряды салата, пока на соседском поле не упрусь в здоровый камень. Я мысленно наложил на него лицо мадемуазель Тьер — раз, два, три — и нанес по нему карающий удар. Камень раскололся сразу, словно только притворялся целым. Из его глубин, удивляясь не менее моего, выглянул мой трилобит — и прямо мне в душу.

Ему было триста миллионов лет, мне — шесть.

«**К**уда направляемся?»
Я ответил: «До конечной», ибо место, куда я еду, не имеет названия. Просто деревенька, затерянная в мареве летнего дня. Тип, сидевший под солнечным зонтом, протянул мне билет и снова заснул.

Передо мной мотается затылок, с каждым виражом рискуя отломиться от шеи. Старушка. Мы — единственные пассажиры: я, она и это адское пекло, которое ползет из всех щелей, из разболтанных стыков и окон автобуса. Мой лоб, прижатый к стеклу, тщетно пытается вспомнить прохладу.

К отправлению катера из Ниццы Умберто не пришел. Буду ждать его наверху сколько надо. Он приедет на каком-нибудь здешнем автобусе с забавными белобокими колесами. Тоже будет часами ползти в гору и твердить себе, что ну не может же дорога длиться бесконечно, — и ошибется. Я с ним уже месяц не говорил, но он приедет, я твердо знаю, он приедет, потому что это Умберто. А я буду изнывать от нетерпения и всячески бушевать, пока он не приедет, потому что это я.

Затылок хрустит, как ветка, старушка спит, свежив нос в авоську. Еще несколько минут назад ря-

дом, через проход от меня, вытянув ноги на красном кожаном сиденье, сидела девочка и ее мама. Я предложил девочке сокку — первые виражи начисто отбили у меня охоту есть. Она покосилась и показала мне язык, презрительно отвергая бобовую лепешку. Мать отчитала ее, я махнул рукой: ничего, мол, пустяки, но про себя подумал: вот поганка! Мать с дочерью вышли часа два назад — в прошлой жизни. А дорога так никуда и не делась. И если зачастую все начинается с дороги, интересно, кто сделал мою такой извилистой?

Это край, где ссоры длятся тысячу лет. Долина вклинивается в него и исчезает бесследно, как улыбка старика. В самой глубине, недалеко от Италии, — деревенька, пришпиленная к горе огромным кипарисом. Дома окружают его кольцом, наползают друг на друга и тянутся раскаленными крышами под его защиту. Улочки так узки, что, пробегая по ним, можно оцарапать бока. Здесь мало места и любую пустоту жадно забивает камень. Человеку он оставляет лишь крохи.

Деревня похожа на ту фотографию, которую я видел, — нечеткую, расплывшуюся по плохой бумаге. Зеленая булавка кипариса и под ней — вялое охристое шевеление издыхающей мухи. Два десятка сигарильос и бледно-меловые лица, маячащие за ними, с любопытством уставились на меня. Среди них полноправным членом сообщества тянет свою любопытную голову осел. Вперед выходит мэр, протягивая руку и улыбаясь пеньками зубов.

Маленькая толпа ведет меня с собой, тяня и толкая, и даже ощупывая, чтобы убедиться, что я и вправду *профессоре*, тот самый, из Парижа, таких мы тут еще не видали, так что *scusi*, мы не знали, что это за диво такое и с чем его едят. Мне подали кофе, какой умеют варить только итальянцы, горький расплавленный гудрон, от которого вспоминается детство и разбитые коленки. Сначала ничего не чувствуешь, потом — хлесткая боль, от которой на глазах выступают слезы, и головокружительное счастье, когда боль стихает.

Я по привычке зову их «итальянцы», хотя с 1860 года эти люди — французы, мэр трижды повторил мне это с моего приезда, — «истинные французы, профессоре», тыча патриотическим пальцем в трехцветную перевязь шарфа. И отнюдь не утратили связи с родной почвой. Посмотришь на них — и сразу понимаешь: их родина — камень. От него такая кожа, руки, пыль на волосах. Камень дает им жизнь, и камень убивает. Прежде, чем стать каменщиком, плотником, обманутым мужем, прежде, чем стать разбойником, богачом или бедняком, — здесь становятся альпинистами. Чему тут удивляться? С первых шагов дитя этих долин наталкивается на стены. Надо уметь карабкаться вверх, другой дороги нету.

Франция, Италия — какая разница. Это всего лишь слова из лексикона мальчишек, которые гоняют мячики по большой карте и собачатся друг с другом. Мы нигде, мы в чреве мира, и это место не принадлежит никому — кроме науки, которая привела меня сюда. В конце дня я поселился в номере, заказанном на мое имя в единственной де-

ревенской *локанде*. В комнате веет седой стариной. Отсутствие комфорта — абсолютное. Ставни, покрытые сиреневыми корками отставшей краски, распахиваются, открывая вздыбленный горизонт. Он вертикален.

Под моим окном в тени стены крутится щенок, пытаясь догнать свой хвост. Он еще не знает, что поймать хвост не удастся, до него это пытались делать другие — и сдались. Я знаю этого щенка, губы сами складываются, чтобы его окликнуть, — но нет, конечно, на дворе 16 июля 1954 года и Корка уже сорок лет как мертв.